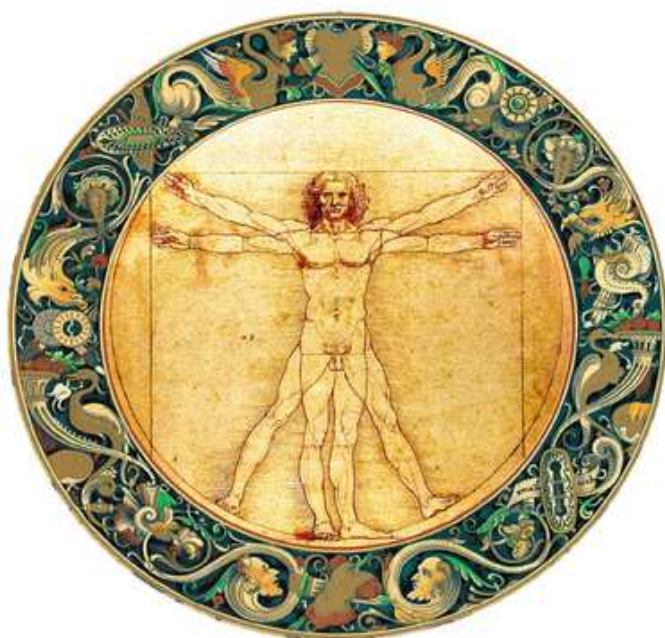


РЕНЕССАНС

У ИСТОКОВ СОВРЕМЕННОСТИ

Стивен ГРИНБЛАТТ



ПУЛИТЦЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПРЕМИЯ 2011 ГОДА!



Стивен Гринблатт

Ренессанс. У истоков современности

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6507245

*Ренессанс. У истоков современности / Стивен Гринблатт; пер. с англ. И.В. Лобанова.: АСТ;
Москва; 2014*

ISBN 978-5-17-080654-6

Аннотация

Ренессанса могло бы и не существовать.

Не было бы ни шедевров Леонардо да Винчи и Микеланджело, ни блистательного политического цинизма Макиавелли, ни всей эпохи расцвета наук и искусств, времени создания гениальных произведений живописи, литературы и философии.

Не было бы, если бы однажды собиратель старинных рукописей Поджо Браччолини не натолкнулся в монастырской библиотеке на некий старинный манускрипт...

Так была обнаружена считавшаяся доселе утраченной поэма Лукреция «О природе вещей», пролежавшая в забвении сотни лет.

Рукопись проповедовала крайне «опасные» идеи гуманизма и материализма, учила радоваться жизни, отрицала религиозное ханжество и мракобесие. Она повлияла на формирование мировоззрения Галилея и Фрейда, Томаса Джефферсона, Дарвина и Эйнштейна

Возрождение поэмы из небытия изменило ход европейской истории.

Но как это произошло?..

Содержание

Предисловие	5
Глава 1	12
Глава 2	17
Глава 3	30
Глава 4	45
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Стивен Гринблатт

Ренессанс. У истоков современности

Посвящается Абигейл и Алексе

Stephen Greenblatt
THE SWERVE
How the World Became Modern
2012

Перевод с английского И.В. Лобанова

© Stephen Greenblatt, 2011
© Перевод. И.В. Лобанов, 2012
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014

Предисловие

В школе у меня была привычка в конце учебного года непременно пойти в книжную лавку и купить что-нибудь на лето. Карманных денег всегда не хватало, но магазин обычно распродал залежавшиеся книги по необычайно низким ценам. Книги складывались кипами, и я рылся в них наобум в надежде найти что-то интересное. В один из таких набегов мне попала на глаза старая мягкая обложка с репродукцией картины сюрреалиста Макса Эрнста. Под полумесяцем высоко в небо взметнулись две пары ног – тел не было видно – в очевидном акте заоблачного соития. На книге – прозаический перевод поэмы Лукреция «О природе вещей» («*De rerum natura*»), написанной две тысячи лет назад – стояла цена десять центов, и я купил ее тогда, мне думается, больше из-за картинки, а не из-за классического содержания.

Античная физика – не самая увлекательная тема для чтения в летние каникулы, но я все же как-то взял книгу в руки и сразу понял, почему на обложке изображен откровенно эротический сюжет. Лукреций начинал поэму страстным гимном Венере, богине любви, чье появление знаменует зарождение весны, озаряет светом небо и наполняет весь мир сексуальным вожделением:

Первыми весть о тебе и твоём появлении, богиня¹,
Птицы небес подают, пронзенные в сердце тобою.
Следом и скот, одичав, по пастбищам носится тучным
И через реки плывет, обаяньем твоим упоенный,
Страстно стремясь за тобой, куда ты его увлекаешь,
И, наконец, по морям, по горам и по бурным потокам,
По густолиственным птиц обиталищам, долам зеленым,
Всюду внедряя любовь упоительно-сладкую в сердце,
Ты возбуждаешь у всех к продолжению рода желанье¹.

Пораженный таким сладострастным началом, я продолжил чтение поэмы, миновал Марса, «сраженного вечной раной любви» и «склоняющегося на ее лоно», мольбы о мире и покое, восхваление мудрости философа Эпикура и осуждение суеверных страхов. Когда я подошел к пространному обсуждению основных философских принципов, мне казалось, что у меня должен был пропасть интерес: никто меня не обязывал читать эту книгу, я хотел получить удовольствие и в этом смысле свои десять центов окупил с лихвой. Но, к своему удивлению, мне хотелось читать поэму дальше.

Нет, меня привлекал не изысканный литературный стиль Лукреция. Позднее я прочел поэму в ее латинских гекзаметрах и понял все богатство и языка, и ритмики, и поэтических образов. Но первый раз мне пришлось постигать ее в прозе, в переводе Мартина Фергюсона Смита, профессиональном, ясном и непритязательном. Однако в убористом тексте объемом более двухсот страниц было нечто завораживающее и трогающее до глубины души. В силу своей профессии я привык, и этого требую от студентов, проникать в суть того, что лежит под внешней оболочкой словесных выражений. Удовольствие от чтения поэзии во многом зависит от умения чувствовать внутреннюю жизнь фраз. Это, конечно, не исключает возможность понимать литературное произведение в переводе, тем более талантливом.

¹ По всему тексту выдержки из поэмы Лукреция приводятся в переводе Ф.А. Петровского с латыни по изданиям: Лукреций Тит Кар. О природе вещей. М.: Изд-во АН СССР, 1958; Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М.: Художественная литература, 1983. – *Здесь и далее примеч. пер.*

Именно таким образом большинство образованных людей познакомились и с Книгой Бытия, и с «Илиадой», и с «Гамлетом». Безусловно, предпочтительнее читать книги иностранных авторов на их языке, но это вовсе не значит, что надо пренебрегать переводами.

В любом случае я должен признать, что поэма «О природе вещей» произвела на меня впечатление и в прозе. Возможно, в какой-то мере сказались личные обстоятельства: любое произведение искусства всегда затрагивает какие-то особые струны в психике каждого человека. Лейтмотивом, пожалуй, всей поэмы Лукреция является отрицание страха смерти, а этим тревожным чувством было окрашено все мое детство. Сам я не думал о смерти, мне было свойственно типичное детское предвосхищение бессмертия. Меня постоянно угнетала абсолютная уверенность матери в ее скорой кончине.

Моя мать не боялась загробной жизни. Как и большинство евреев, она имела очень смутное представление о том, что ждет человека, попавшего в могилу, и она старалась не думать об этом. Ее страшили само умирание, безвозвратность ухода из жизни. Я до сих пор не могу забыть, с какой одержимостью она говорила о неизбежности конца, особенно в моменты расставаний. Все мое существование было наполнено экзальтированными и драматическими сценами прощаний. И когда они с отцом уезжали из Бостона в Нью-Йорк на уик-энд, и когда мать провожала меня в летний лагерь, и даже когда я уходил в школу, она прижималась ко мне и со слезами говорила о том, как она ослабла, предупреждая, что мы можем больше не увидеться. Если мы шли вместе куда-нибудь, она вдруг останавливалась, словно теряя сознание. Иногда она показывала мне вену на шее, брала меня за руку и просила пощупать пульс, чтобы удостовериться в том, как неровно бьется ее сердце.

Матери, наверное, не было еще и сорока лет, когда я начал замечать ее страхи смерти, а они появились у нее, видимо, гораздо раньше. Я думаю, они зародились лет за десять до моего появления на свет, когда умерла от болезни горла ее младшая, шестнадцатилетняя сестра. Такие утраты не были редкостью до открытия пенициллина, но мать очень тяжело переживала смерть сестры, она постоянно напоминала мне об этом, заставляла читать и перечитывать печальные послания, которые писала девочка-подросток во время болезни.

Я старался понять, что скрывается за бесконечными жалобами матери на «сердцебиение», нервировавшие не только меня, но и всех окружающих. Мне казалось, что это ее своего рода жизненная уловка. Она как бы имитировала страдания, пережитые сестрой. Мать будто бы одновременно выражала и укор – «видите, до чего вы меня довели», – и любовь – «но я все еще о вас забочусь, хотя мое сердце вот-вот остановится». Это была и репетиция кончины, которой она боялась. Но в основном она таким образом привлекала к себе внимание и требовала любви. Естественно, подобные психологические нагрузки отражались на моих детских годах. Я любил мать и действительно боялся потерять ее. Однако у меня не было реальных возможностей повлиять на ее психологическое состояние и избавиться от опасных симптомов. (Думается, что она тоже не знала, как это сделать.) Я не мог осознать, насколько жуткой может быть эта непреходящая боязнь умереть, как можно бояться прощаний. Только теперь, когда у меня появилась собственная семья, я стал понимать, каким же гнетущим был страх смерти, преследовавший ее, если любящая мать – а она была по-настоящему любящей матерью – не остерегалась мучить своими эмоциональными тревогами детей. Каждый день приносил ей новое, еще более мрачное предчувствие близкой смерти.

Как оказалось, моя мать не дожила один месяц до своего девяностолетия. Ей было чуть больше пятидесяти лет, когда я впервые прочитал поэму «О природе вещей». К тому времени моя боязнь ее смерти по интенсивности сравнялась с ее страхами. Поэтому слова Лукреция «нам смерть – ничто» меня озадачили. Нелепо жить в напряженном ожидании смерти. Это значит обречь себя на скорбное и безрадостное существование. Лукреций открыл мне глаза на очевидные вещи, о которых я сам даже не задумывался. Мучить себя мыслями о смерти бессмысленно, причинять боль семье своими переживаниями – жестоко.

Но Лукреций заинтересовал меня не только целительными рассуждениями о ничтожности страха смерти. Мне было крайне любопытно читать и его описания природы и устройства всего, что существует в мире. Я без труда мог заметить, что многие детали его миропонимания сегодня выглядят абсурдными. Иначе и быть не могло. Насколько достоверными будут наши представления о Вселенной через следующие две тысячи лет? Лукреций полагал, что Солнце вращается вокруг Земли и что это светило по яркости и размерам не больше того диска, который мы видим с планеты. Поэт-философ был уверен, что черви порождаются намокшей почвой, молнии возникают, когда тучи, сталкиваясь, выбивают семена огня, а землю сравнивал с бесплодной матерью, утомившейся после многих родов и кормлений. Но сердцевину его поэмы составляют принципы, на которых строится современное миропонимание.

Согласно Лукрецию, вещество Вселенной состоит из бесчисленного множества атомов: они мечутся произвольно в пространстве подобно пылинкам в лучах солнца, сталкиваются, сцепляются друг с другом, образуют разнообразные структуры, снова разъединяются – в непрерывном процессе созидания и разрушения. Этот процесс нескончаем. Когда мы смотрим на ночное небо и с замиранием сердца вглядываемся в мерцающие далекие звезды, то нашему взору предстает не творение богов или какая-то потусторонняя сфера, обособленная от нашей земной жизни. Мы видим тот же материальный мир, частью которого являемся. Не существовало и не существует никакого первоначального замысла, никакого проекта, никакого архитектора. Все в мире, включая и живые существа, то есть и нас тоже, эволюционирует совершенно произвольно, правда, среди живых организмов действует принцип естественного отбора. Те из них, которые более приспособлены к выживанию и воспроизводству, сохраняются, по крайней мере какое-то время, остальные – вымирают. Но ничто – ни мы, ни наша планета, на которой мы живем, ни Солнце, которое нам светит, не может существовать вечно. Бессмертны только атомы.

При таком устройстве мира надо отказываться от привычных представлений и верований. Нельзя считать Землю и ее обитателей центром мироздания и отделять людей от всех других животных. Не следует надеяться на то, что можно подкупить или задобрить богов. Теряют смысл религиозный фанатизм, аскетические самоограничения, упования на обретение власти и полной безопасности, расчеты на достижение могущества завоеваниями и покорение природы. Ничто не может остановить процесс рождения, перерождения, вырождения и возрождения форм материи. Лукреций предлагает не тратить усилия на бесплодные попытки обрести ложное ощущение личной безопасности и не пугать себя неизбежностью смерти. Дабы побороть страхи и обрести действительную свободу, человеку надо всего лишь осознать простой и очевидный факт: и он сам, и все, что его окружает, существует временно, и ему надо воспользоваться отпущенным временем не для самоистязания тревогами, а для получения удовольствий от жизни.

Читая поэму, я не переставал изумляться тому, что все эти идеи были изложены более двух тысяч лет назад. Конечно, образ мышления Лукреция очень далек от менталитета современного человека. За минувшие века произошло немало изменений в мироощущении людей. Но этот древнеримский поэт, чье сочинение способно взволновать нас и сегодня, стал мне духовно близок.

Не вызывает удивления то, что философская традиция, отраженная в поэме и несовместимая с культом богов и государства, могла казаться крамольной даже его современникам, жившим в условиях определенной идеологической терпимости, свойственной античному Средиземноморью. Приверженцев этой философии считали людьми нечестивыми, полоумными или просто безмозглыми. С приходом христианства их тексты осуждались, высмеивались, сжигались или, что было не менее пагубным, игнорировались и забывались. Удивительно другое – то, что уцелело, пережив века, сочинение, в котором выражена квинт-

эссенция всей философской системы. В поэме, если не считать некоторых несуразных замечаний, ярко представлено основное содержание философской традиции. Случайный пожар, акт вандализма, вспышка гнева читателя, возмущенного ересью, – и история развития нашей цивилизации могла быть иной.

Из всех древних шедевров именно этой поэме суждено было пропасть навсегда вместе с произведениями, ее вдохновившими. То, что этого не случилось и поэма, пережив столетия, вновь начала распространять крамольные идеи, можно считать настоящим чудом. Автор, конечно, не верил в чудеса. Он был убежден в нерушимости законов природы. По его теории, все возникает в результате «отклонения» – Лукреций употребляет латинское слово *clinamen* – случайного и непредсказуемого изменения в движении материи. И выживание поэмы можно считать «отклонением» – непредвиденной и вызванной случайными обстоятельствами переменной в судьбе, уготованной и сочинению Лукреция, и его философии.

Когда поэма вновь стала доступна читателям – спустя целое тысячелетие, – идеи о формировании Вселенной из атомов, сталкивающихся, соединяющихся и разъединяющихся в беспредельной пустоте, казались совершенно абсурдными. Однако те же самые нечестивые или неразумные идеи легли впоследствии в основу современного миропонимания. Никто не может отрицать, что наша современность многое заимствовала из наследия античности. Об этом следует напоминать хотя бы по той причине, что в учебном процессе в основном игнорируются древнегреческие и древнеримские классики. Не менее важно помнить и о том, что все повествование Лукреция пронизано чувством познавательного удивления. Это чувство не вселяется в нас богами и демонами. Его рождает стремление познать природу вещей, то, что мы являемся частью той же материи, из которой созданы и звезды, и океаны, и все существующее в мире.

На мой взгляд, культура, возникшая на этике античности и Лукреция, приучающей любить красоту и удовольствия, даруемые жизнью, наиболее полно проявилась в эпоху Возрождения. И это нашло отражение не только в искусстве. Философия наслаждения жизнью оказала влияние на стиль одеяний, придворный этикет, оформление и украшение повседневного быта, даже на литургии. Ее можно обнаружить в научных и технических изысканиях Леонардо да Винчи, в диалогах Галилея об астрономии, в исследованиях Фрэнсиса Бэкона и в теологии Ричарда Хукера. Она вошла в рефлекторную привычку, и ее проявления можно встретить в сферах, далеких от эстетики. И рассуждения Макиавелли о политической стратегии, и повествования о Гвиане Уолтера Рэли, и описания Робертом Бёртоном психических заболеваний изложены так, чтобы доставить читателю удовольствие. Но конечно, стремление человека к красоте ярче всего представлено в искусстве Ренессанса – в живописи, скульптуре, музыке, архитектуре и литературе.

Я всегда любил и продолжаю любить Шекспира. Однако и в моем понимании он лишь один из представителей целой плеяды выдающихся мастеров новой культуры – Альберти, Микеланджело, Рафаэля, Ариосто, Монтеня, Сервантеса. В этой культуре соединились и тесно переплелись многообразные и нередко противоречивые мотивы, но всем им свойственна одна общая черта – жизнеутверждающая направленность. Эта направленность присуща даже тем произведениям, в которых, казалось бы, побеждает смерть. Таким образом, например, в заключительной сцене трагедии «Ромео и Джульетта» склеп символизирует не столько уход из жизни влюбленных, сколько утверждение их в будущем человечества как олицетворения истинной любви. Аудитория уже более четырехсот лет затаив дыхание слушает, как Джульетта просит ночь:

Ночь темноокая, дай мне Ромео.
Когда же он умрет, возьми его
И раздоби на маленькие звезды:

Тогда он лик небес так озарит,
Что мир влюбиться должен будет в ночь
И перестанет поклоняться солнцу².

(III. ii. 22–24)

Тандем ощущений красоты и удовольствия иногда распространяется не только на жизнь, но и на смерть, не только на цветение, но и на увядание. Он присущ и раздумьям Монтеня о движении материи, и описаниям Сервантесом приключений безумного рыцаря, и изображению Микеланджело содранной кожи святого Варфоломея, и рисункам вихрей и волн Леонардо да Винчи, и любованию живописцем Караваджо грязными подошвами Иисуса Христа.

Эпоху Возрождения можно охарактеризовать интеллектуальным «отклонением» от магистрального идеологического направления, переворотом, направленным против ограничений, которыми веками сковывались желания, любознательность, индивидуальность человека, стремления к познанию мира и удовлетворению вожделений тела. Культурный сдвиг всегда трудно обозначить и по времени, и по содержанию перемен. Интуитивно его можно почувствовать, глядя в Сиене на полотно Дуччо «Маэста» или «Мадонна во славе», алтарный образ Девы Марии, а во Флоренции – на картину Боттичелли «Весна», по общему мнению, навеянной поэмой Лукреция «О природе вещей». На главной панели алтарного образа Дуччо (ок. 1310) изображены ангелы, святые, апостолы и мученики и сама Богоматерь с младенцем, сидящая в задумчивости на троне. На полотне Боттичелли (ок. 1482) боги и богини собрались в сочной зелени сада Венеры. Их грациозные, пластичные фигуры создают хореографическую композицию, воспевающую пришествие весны, дарующей плодородие, и словно иллюстрируют сцену из поэмы Лукреция: «Вот и Весна, и Венера идет, и Венеры крылатый вестник грядет впереди, и, Зефиру вослед, перед ними шествует Флорамать и, цветы на пути рассыпая, красками пышными все наполняет и запахом сладким»². Перемены в культуре выражались не только в возрождении интереса к языческим богам и их символике. Изменилось восприятие мира, он виделся не статичным и бесцветным, а ярким, динамичным, скоротечным, переполненным эротической энергией и жаждущим изменений.

Хотя смена ориентиров в восприятии окружающего мира и самой жизни особенно наглядно проявлялась в эстетике, она неизбежно затрагивала и другие сферы жизнедеятельности человека. Фундаментальные перемены произошли в научном мышлении. Самым дерзновенным образом они выразились в трудах Коперника, Везалия, Джордано Бруно, Уильяма Гарвея, Гоббса, Спинозы. Трансформация не была внезапной и окончательной. Прошло не одно столетие, прежде чем стало возможным переключить внимание с ангелов, демонов и других бестелесных существ на реальную действительность, осознать, что человек создан из одной и той же материи, из которой состоит вся природа, и является лишь частью извечного естественного мирового порядка. Теперь можно было заниматься экспериментами, не опасаясь Божьего гнева. Позволительно стало подвергать сомнению правомочность любой власти и оспаривать ее доктрины, утверждать, что существуют и другие миры, помимо нашего, а Солнце – лишь одна из звезд, разбросанных в беспредельном пространстве Вселенной. Человек мог позволить себе без стеснения предаваться удовольствиям и избегать ненужной боли, жить, не думая о загробных воздаяниях и наказаниях для бессмертной души. Иными словами, появилась возможность, как писал поэт Оден, «быть довольным миром бренным».

² Шекспир У. Полное собрание сочинений. В 8 т. М.: Искусство, 1958. Т. 3. Ромео и Джульетта, сцена 2, акт 3. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Трудно найти одно и всеобъемлющее объяснение возникновению этого феномена в развитии цивилизации, выпустившего на волю силы, сформировавшие современный мир, и получившего название Возрождение. В этой книге я излагаю одну из малоизвестных, но показательных историй из хроники Ренессанса – историю возвращения из небытия гуманистом Поджо Браччолини утерянной поэмы Лукреция «О природе вещей». Эта история, на мой взгляд, иллюстрирует один из истоков происхождения современного образа жизни и мышления – наследие античности. Конечно, не только поэма Лукреция, тем более что о ней в течение многих веков нельзя было даже упоминать вслух, участвовала в трансформации всех интеллектуальных, нравственных и социальных ориентиров. Но именно это сочинение античного автора, внезапно высвободившееся из монастырского заточения, сыграло решающую роль.

Таким образом, настоящая книга – это повествование о том, как изменилось наше миропонимание. Перемены произошли не в результате революции, они не были привнесены армиями или открытиями неизвестных цивилизаций. Для такого рода событий историки и писатели создали запоминающиеся художественные образы падения Бастилии, разорения Рима и покорения Нового Света испанскими каравеллами. Эти образы могут быть обманчивыми. В Бастилии практически не было узников; армия Алариха очень быстро ушла из имперской столицы; в Америке самым примечательным действием было не водружение флага, а чих заболевшего испанского моряка, своим кашлем перепугавшего изумленных аборигенов. Эпохальные перемены, о которых идет речь в этой книге, не столь визуальны и драматичны, хотя и затронули все стороны нашей жизни.

Наше эпохальное событие, имевшее место почти шестьсот лет назад, было обыденное и заурядное и происходило в глухомани, за высокими монастырскими стенами. Не было ни героических актов, ни наблюдателей, которые бы фиксировали детали для потомков, ни знамений, которые бы указывали на то, что предстоит какие-либо кардинальные изменения. Низенький, добродушный, обаятельный, но настороженный человек, чей возраст приближался к сорока годам, протянул руку и взял с полки монастырской библиотеки очень старый манускрипт, удивился тому, что предстало его глазам, и попросил сделать копию.

Этот человек, естественно, не осознавал в полной мере возможные последствия своей находки, которые проявились лишь в последующие столетия. Если бы он понял, какого джина выпускает из бутылки, то, возможно, оставил бы книгу там же, где и нашел. Сочинение многократно переписывалось, но, скорее всего, даже не читалось теми, кто его старательно копировал. В продолжение многих столетий о нем вообще никто не вспоминал. Между IV и IX веками произведение цитировалось в перечнях грамматических и лексикографических примеров – в качестве образцов правильной латинской письменности. В VII веке Исидор Севильский, составляя обширную энциклопедию, сослался на манускрипт как на важный источник информации по метеорологии. Какое-то время им занимались люди Карла Великого, при котором возродился интерес к античной классике, и ирландский ученый-монах Дунгал даже аккуратно поправил копию рукописи. Однако манускрипт не обсуждался и не распространялся и после каждого появления на свет божий снова исчезал. И только через тысячу лет он вернулся к читателям навсегда.

Человек, нашедший его, Поджо Браччолини, вел обширную переписку³. Он сообщил о своем открытии другу в Италии, но это послание не сохранилось. Однако воссоздать детали поисков можно по другим письмам, и его собственным, и его окружения. Интересующий нас манускрипт, похоже, является главной его находкой, но не единственной. Поджо Браччолини был страстным собирателем книг, одержимым идеей возрождения наследия Древнего мира.

Поиск утерянных манускриптов вряд ли можно отнести к числу занимательных приключенческих историй. Но в этой эпопее множество и других сюжетов, так или иначе с ней связанных: арест и заключение папы римского, перипетии службы при папском дворе, зло-

вещая деятельность инквизиции, сожжение еретиков и, наконец, повальное увлечение языческой древностью. После находки поэмы Лукреция прекратились поисковые экспедиции этого охотника за манускриптами. Но эта поэма сделала его одним из творцов современности.

Глава 1

Охотник за манускриптами

Зимой 1417 года Поджо Браччолини отправился по лесистым склонам и долинам Южной Германии в отдаленный монастырь, где, по слухам, находился тайник с древними манускриптами. Для местных жителей, поглядывавших на него из дверей своих хижин, он казался чужаком. Всадник был хрупкого телосложения¹, гладко выбрит и одет в простую, но ладно сшитую тунику и плащ. Вид у него был явно не деревенский, но он не походил и на горожан, и на обитателей дворцов, которые иногда встречались аборигенам. На нем не имелось ни оружия, ни доспехов, и его никак нельзя было принять за тевтонского рыцаря. Он свалился бы от одного крепкого удара дубинкой любого жилистого деревенского парня. Всадник не выглядел бедняком, но и не выделялся какими-либо привычными для глаза признаками богатства и статуса. Он не был ни придворным с присущими для этой категории людей пышными одеяниями и надушенными длинными локонами, ни дворянином, выехавшим на охоту. Судя по облачению и прическе, он не был и священником или монахом.

Южная Германия в те годы процветала. Трагической Тридцатилетней войне, разрушившей деревни и города, и бедствиям нашего времени, погубившим все, что сохранилось от той поры, еще предстояло произойти. По дорогам, изрезанным колеями, проезжали рыцари, экипажи с вельможами, дворянами и другими знатными особами. Равенсбург, располагавшийся рядом с Констанцем, торговал тканями и начал производить бумагу. Динамично развивались мануфактуры и коммерция в Ульме на левом берегу Дуная, в Хайденхайме, Алене, прекрасном Ротенбург-об-дер-Таубере и еще более прекрасном Вюрцбурге. Здесь можно было увидеть людей самых разных занятий: маклеров и торговцев шерстью, кожами и одеждой, виноделов и пивоваров, ремесленников с подмастерьями, банкиров, мытарей и даже дипломатов. Но Поджо не был ни тем, ни другим, ни третьим.

На дорогах попадались и менее состоятельные представители рода человеческого – обыкновенные путники, лудильщики, точильщики ножей, которых заставляла передвигаться нужда, пилигримы, желавшие помолиться у святых мощей или капли крови, фокусники, гадальщики, прорицатели, коробейники, акробаты и мимы, беженцы, бродяги и мелкие воришки. Там были и евреи в конических шляпах и с желтыми отличительными знаками, указывавшими на то, что их следует ненавидеть и презирать. Поджо не принадлежал к этой категории людей.

Для всех, кто встречал его на своем пути, он, безусловно, казался загадочной личностью. В те времена о социальном положении человека свидетельствовали многие признаки, в том числе и такие, как несмываемые пятна на руках красильщика. Распознать Поджо было невозможно. Отдельный индивид, без семьи и конкретной профессии, был безликим. Его идентификация определялась принадлежностью к какому-то роду занятий или, лучшего всего, к какому-то хозяину. Двустигшие, написанное Александром Поупом в XVIII веке для одного из королевских мопсов, характеризует и человеческие отношения, в которых жил Поджо:

I am his Highness' dog at Kew;
Pray tell me, sir, whose dog are you?

(В Кью я пес его высочества.

Скажите, сэръ, а чей пес вы?)³

Семейный очаг, родственные связи, гильдия, корпорация – эти факторы создавали ту или иную персональную идентичность человека. Независимость, самостоятельность не играли никакой роли. Их было трудно и осознать и проявить. Самоидентификация рождалась только точным и ясным пониманием своего места в иерархии отношений господства и послушания.

Любые попытки вырваться из цепей этой иерархии были бы расценены как признаки безумия. Любой дерзкий поступок – отказ поклониться или преклониться или обнажить голову перед соответствующим господином – мог обернуться разбитым в кровь носом или свернутой шеей. И вообще, какой в этом был бы смысл? В любом случае у человека не имелось никаких разумных альтернатив, по крайней мере тех, которые были бы обозначены церковью, двором или городскими владыками. Оставался единственно возможный вариант поведения – смиренно согласиться с идентификацией, предопределенной судьбой: пахарь должен пахать, ткач – ткать, монах – молиться. Естественно, в каждом из занятий можно было проявить больше или меньше усердия, и в обществе, в котором довелось жить Поджо, хорошее знание своего дела не только приветствовалось, но и поощрялось. Однако немислимо было бы ждать похвалы за индивидуальность, разносторонность умений или любознательность. Более того, последнее качество церковь осуждала как моральное согрешение². За это человеку полагалось вечно мучиться в аду.

Но кто же все-таки был Поджо? Почему он никак не обозначил свою идентификацию? На нем не было никаких знаков отличия, и он не вез тюки с товарами. В нем чувствовалась уверенность в себе, присущая лицам, привыкшим вращаться в высшем обществе, но значительной персоной он не выглядел. Здесь все знали, как должна смотреться важная птица, ибо это было общество вассалов, ливрейных слуг и вооруженных охранников. Пришелец, одетый скромно и просто, явился не один, а со спутником. Когда они располагались переночевать на постоянных дворах, все распоряжения отдавал компаньон, который был, видимо, помощником или слугой, а когда раздавался голос его хозяина, то становилось ясно, что тот почти совсем не знает немецкого языка и предпочитает изъясняться по-итальянски.

Если бы он попытался объяснить причины своего приезда, то это еще больше озадачило бы человека, пожелавшего определить род его занятий. В обществе с минимальным уровнем грамотности интерес к книгам показался бы по меньшей мере странным. А как бы Поджо объяснил особый характер своего библиофильства? Он же интересовался не повседневым чтивом и не служебниками и сборниками гимнов, которые своими изысканными иллюстрациями и великолепными переплетами могли понравиться даже безграмотному человеку. Такие книги, украшенные иногда драгоценностями и позолотой, обычно запирались в специальные ящики или цепями крепились к аналоям, чтобы их не умыкнули вороватые читатели. Однако не эти издания искал Поджо. Ему не нужны были богословские, медицинские и юридические фолианты, особенно ценные для профессиональной элиты. Такие книги обладают значительной притягательной силой даже для тех, кто не умеет читать. Они действуют на человека магически, поскольку имеют дело в основном с малоприятными событиями: судебными тяжбами, болями в животе, обвинениями в колдовстве или ереси. Самый обыкновенный человек согласится с незаурядной ценностью этих книг и поймет интерес к ним. Для Поджо они ценности не представляли.

Чужак ехал в монастырь, но он не был ни священником, ни богословом, ни инквизитором, и ему не нужны были молитвенники. Он искал старые манускрипты, заплесневев-

³ Кью – королевский ботанический сад. Надпись на ошейнике собаки, подаренной Фредерику, принцу Уэльскому, старшему сыну Георга II и Каролины Ансбахской.

лые, изъеденные червями и не поддающиеся прочтению даже самым искушенным специалистами. Если листы пергамента еще целы, то они могли иметь определенную ценность, так как их можно было аккуратно почистить ножом, отшлифовать тальком и снова пустить в дело. Однако Поджо не занимался скупкой пергамента, в действительности он ненавидел тех, кто соскабливал древние письма. Он хотел знать, что написано на листах, даже если почерк неразборчив. Его интересовали главным образом манускрипты, изготовленные четыреста или пятьсот лет назад, в X веке или даже ранее.

Практически все в Германии, исключая горстку энтузиастов, усмотрели бы в этих настойчивых исканиях нечто сверхъестественное. Еще больше недоумения вызвало бы то, что Поджо почти не проявлял интереса к тому, что было написано авторами четыреста – пятьсот лет назад. Он считал эту эпоху временем суеверия и невежества. Он надеялся найти слова, не имевшие ничего общего с эпохой, в которую они были скопированы. Ему нужны были слова, не зараженные менталитетом смиренного писца, копировавшего их. Поджо надеялся, что добросовестный писец аккуратно копировал более древний текст, ранее переписанный другим писцом, покорная жизнь которого также не оказала негативного влияния на содержание с соответствующими негативными последствиями для собирателя манускриптов. Если повезет, то он получит в руки древнюю копию еще более древней копии оригинальной античной рукописи. При одной мысли об этом сердце искателя манускриптов начинало колотиться от волнения. Он хотел напасть на след, ведущий его в Рим, не в современный мир с коррумпированным папой, интригами, политической нестабильностью и периодическими вспышками бубонной чумы, а в Рим с Форумом, сенатом и кристально чистым латинским языком, обещавшим ему встречи с утерянным прошлым.

Но какое значение все это имело для людей, живших в 1417 году? Суеверный человек, слушавший объяснения Поджо, мог заподозрить проявление особого типа ворожбы, библиомантии (гадания по Библии); более просвещенный индивид диагностировал бы психологическую одержимость книгами – библиоманию; священнослужитель задумался бы над тем, как можно в здравом уме интересоваться тем, что было до пришествия Спасителя, пообещавшего искупление всем язычникам. И возникал еще один закономерный вопрос: кому же служил этот безумец?

Поджо тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос. До того как отправиться в дорогу, он служил папе, а прежде и другим понтификам. Он был *scriptor*, писец, то есть опытный составитель официальных документов в папской администрации – курии, и благодаря своим исключительным способностям и проворству получил желанный пост апостолического секретаря. Поджо всегда был у папы под рукой, фиксировал его слова и высочайшие решения, на утонченном латинском языке вел его обширную международную переписку. При дворе физическая приближенность к абсолютному правителю всегда имела и имеет первостепенное значение, и Поджо стал очень важной персоной. Он внимательно выслушивал то, что шептал ему на ухо папа, и также шепотом отвечал ему. Он прекрасно понимал символику улыбок и гримас понтифика и как «секретарь» имел доступ ко всем его секретам. А у того папы секретов было предостаточно.

Однако в то время, когда Поджо уезжал на поиски древних рукописей, он уже не был апостолическим секретарем. Он ничем не досадил папе, его хозяин был цел и невредим. Но ситуация в корне переменилась. Папа, которому служил Поджо и перед которым трепетали и верующие и неверующие, зимой 1417 года сидел в имперской тюрьме в Гейдельберге. Лишенный титула, звания и власти, папа был публично обесчещен и осужден своими же князьями церкви. «Святой и непогрешимый» Вселенский собор в Констанце провозгласил, что своим «омерзительным и непристойным образом жизни» он опозорил церковь и христианство и потому недостоин оставаться наместником Петра³. Соответственно, собор освободил всех верующих от обязательств верности и послушания этому папе, запрещалось назы-

вать его папой и повиноваться ему. В долгой истории церкви, богатой скандалами, редко случалось нечто подобное прежде и никогда не повторялось впоследствии.

Низложенного папы там уже не было, но Поджо в роли апостолического секретаря мог присутствовать при том, как архиепископ Рижский вручал папскую печать ювелиру, который торжественно разрубил ее на куски вместе с другими папскими регалиями. Все служащие бывшего папы подлежали увольнению, а его переписку, которую вел Поджо, официально запретили. Папы, называвшегося Иоанном XXIII, больше не существовало. Человек, носивший это имя, снова стал тем, кем был до восхождения на престол, – Бальдассаре Коссой⁴. А Поджо остался без господина.

Для большинства людей, живших в начале XV века, не иметь господина означало оказаться в очень неприятном и даже опасном положении. В деревнях и городах к странникам относились настороженно и подозрительно, бродяг пороли кнутами и клеймили. На пустынных дорогах и тропах они могли подвергнуться любому насилию. Конечно, Поджо вряд ли можно было назвать бродягой. Человек образованный и способный, он давно занял достойное место в высших кругах общества. Гвардейцы и в Ватикане, и в замке Сант-Анджело пропускали его в ворота, не задавая лишних вопросов. Важные просители, приходившие в папскую резиденцию, заискивали перед ним. Он пользовался правом прямого доступа к абсолютному владыке, богатому и хитрому владельцу огромных территорий, считавшему себя духовным вождем всего западного христианства. Апостолический секретарь Поджо стал своим человеком и в личных покоях папских дворцов, и в папской резиденции, обменивался шутками с сиятельными кардиналами, беседовал с послами, пил изысканные вина из хрустальных и золотых кубков. Во Флоренции он сблизился с самыми влиятельными особами в синьории, городском правительстве, и вообще оброс полезными высокопоставленными друзьями.

Но теперь Поджо был далеко и от Флоренции, и от Рима. Он находился в Германии, а папа, которого секретарь сопровождал в Констанц, пребывал в тюрьме. Враги Иоанна XXIII одержали верх и заправляли всеми делами. Двери, когда-то открытые для Поджо, наглухо захлопнулись. Просители, домогавшиеся благосклонности – особой милости, желаемого судебного решения или доходного места для себя или своих родственников – и неплохо платившие за услуги, нашли себе других покровителей. Прибытки у Поджо резко сократились.

А доходы у него были немалые. Писцы не получали фиксированное жалованье, но им было разрешено брать гонорары за исполнение документов и добывание так называемых «милостивых дозволений», легальных поблажек, предоставляемых папой в устной или письменной форме. Разумеется, имелись и другие, менее официальные способы мздоимства, которыми мог воспользоваться человек, приближенный к папе. В середине XV века ежегодный доход секретаря составлял от 250 до 300 флоринов, но предприимчивый индивид мог заработать и больше. К концу двенадцатилетней службы Георгий Трапезундский, коллега Поджо, скопил на счетах в банках Рима 4000 флоринов и сделал приличные вложения в недвижимость⁴.

В письмах друзьям Поджо утверждал, что никогда не отличался ни тщеславием, ни алчностью. В превосходном эссе он осуждал жадность как один из самых презренных человеческих пороков, уличал в скарденности лицемерных монахов, нечистоплотных князей и прижимистых купцов. Трудно поверить в абсолютную безгрешность людей таких профессий, какая имела у Поджо. К концу карьеры он смог вернуться ко двору папы и использовал свое служебное положение для быстрого обогащения. В пятидесятых годах⁵ Поджо, помимо семейного *palazzo* и поместья, приобрел несколько ферм, девятнадцать отдельных

⁴ Также Бальгазар Косса.